



КАМЕРТОН

ДЭНИ ГУБАИ

Дэни Губай

VoxZero. Камертон

<https://litres.ru/74366152>

SelfPub; 2026

Аннотация

Одиннадцать миллионов человек живут под куполом — и ни один не помнит, что такое плохой день. На запястье у каждого браслет «Согласие»: он слушает пульс, замечает грусть раньше самого человека и мягко возвращает в норму. Расстроенных здесь настраивают, как инструменты. Городом управляет система, которая искренне желает людям добра. Отказаться от её заботы нельзя — некуда и незачем. Так считают почти все.

Ки — подросток из благополучной башни: ровный пульс, правильные баллы. Пока однажды прямо на улице не уведат его девушку — вежливо, по протоколу, для её же блага. Ариадна — советник города; она живёт наверху, где террасы, свет и тишина хорошо оплачены. Однажды ей передают подарок и записку, адресованную имени, которого она не слышала с детства. С этого дня оба начинают слышать то, чего в городе быть не должно.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	4
Глава 1. Путь к Совершенной Гармонии	5
Глава 2. Оптимум	15
Конец ознакомительного фрагмента.	27

VoxZero. Камертон

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗИМА

Глава 1. Путь к Совершенной Гармонии

Лгать одиннадцати миллионам оказалось делом техники, и техникой Ариадна владела безупречно.

Техника была в дыхании. Вдох на четыре счёта перед сложным словом, чтобы голос не сел; пауза не там, где кончается мысль, а там, где зрителю нужно поверить; улыбка, начинающаяся в глазах за полсекунды до губ, потому что улыбка, начавшаяся с губ, выдаёт ложь даже настроенным, а настроенные, вопреки общему мнению, не глупы — они просто согласились не замечать. Ариадна не лгала словами. Слова были чужие, выверенные, прошедшие три отдела; в словах лжи не было, в словах была политика. Ариадна лгала телом — тем, как тело говорило «я в это верю». Этому нельзя научить. С этим, как ей однажды сказали, надо родиться или быть сделанной.

— Тридцать секунд, — произнёс голос режиссёра, тёплый, у неё в ухе.

Студия «Гармония Медиа» была построена так, чтобы в ней нельзя было нервничать. Свет шёл отовсюду и не отбрасывал теней — у Ариадны под этим светом не было тени уже двенадцать лет, с тех пор как её, четырнадцатилетнюю, впервые посадили за этот стол, и она привыкла к себе бесте-

невой, как привыкают к ампутации. Воздух держали на той температуре, при которой тело забывает, что у него есть граница. Перед ней, на месте камеры, мягко горел зелёный огонёк — не красный, красный тревожит, у них всё было зелёным, эфир, согласие, разрешение жить. А справа, вне кадра, на матовой панели тихо дышала кривая её голоса — тонкая светящаяся дорожка, которую система вела рядом с ней в реальном времени и подправляла, если Ариадна выходила из ровного: не грубо, шёпотом, добавляя в наушник чуть-чуть тона, чтобы она сама, не замечая, возвращалась в строй. Её настраивали, пока она проповедовала настройку. Она знала это и давно перестала об этом думать, как перестают думать о сердце, которое всё равно стучит без спроса.

— Двадцать.

Кроме неё, в студии не было ни одного человека — ровный свет, гладкие панели, и она одна за столом, в кадре, как одинокая мысль в чьей-то ухоженной голове. Но Ариадна знала, что пустота эта обитаема. Где-то за этими светлыми, без единого шва стенами сидел режиссёр, чей тёплый голос приходил ей в ухо; рядом с ним — люди, которых она никогда не видела при свете, но чувствовала спиной. Они, впрочем, ничего и не решали. Её кривую — тонкую дорожку голоса, которую подправляли в реальном времени, — вёл не человек. Её вёл САЦИ: это его незримая рука на полтона приподнимала ей звук, возвращая в строй, это он знал её голос лучше неё самой. А люди за стенами лишь смотрели, как

он работает, сверяли показания, кивали; они были при машине, как Смотрители при исправном механизме, — нужные, чтобы было кому кивать, и не нужные ни для чего больше. А над всеми ними, ещё дальше, в кабинете, куда Ариадна не была вхожа, сидел тот, кто всё это построил, — она не называла его даже про себя, у него не было лица, было только присутствие, ровное и огромное, как давление воздуха. Архитектор. Он не вмешивался в эфир. Ему не нужно было: он один раз настроил всё так, чтобы оно настраивало само себя. И теперь только смотрел, как смотрят на исправно идущие часы. Иногда Ариадне казалось, что он смотрит и на неё, отдельно, дольше, чем на других. Она гнала эту мысль. Думать о нём было всё равно что оборачиваться в темноте на чужой взгляд, которого, может, и нет.

— Десять.

Под столом, где не доставал ни один объектив, Ариадна сжала левую руку в кулак. Это она делала всегда. Годами она объясняла себе это так: вот тут, под столешницей, прячется то, чего им не отдать. Свободная рука. Маленькая судорога, которой не видит ни камера, ни кривая, ни САЦИ. Её личное, тайное, единственное «нет», спрятанное в кулаке, пока лицо говорит «да». Она держалась за этот кулак, как держатся за поручень.

— Три. Два.

Зелёный огонёк не сменился — он стал чуть ярче и просто стал значить «сейчас».

— Добрый вечер, — сказала Ариадна, и голос её вышел тёплым, ровным, родным одиннадцати миллионам. — Многие из вас сейчас садятся ужинать — в один и тот же час, всем городом, как и положено. Это хорошо. Это и есть лад: когда город дышит в такт. Приятного вечера вашему столу. — Она выдержала тёплую паузу. — Я знаю, многие из вас устали. Держать строй — труд. Никто не говорит вам спасибо за то, что вы каждый день выбираете быть в ладу. Я говорю. Спасибо.

Так начинали всегда — с благодарности за то, чего у людей не спрашивали. Это обезоруживало. Нельзя бунтовать против того, кто тебя поблагодарил.

— Я знаю, иногда цена кажется вам высокой, — продолжила она. — Тон, который надо держать. Вопросы, которые лучше не задавать вслух. Но вспомните, чем платили до нас.

Ваши прадеды называли себя свободными — и всю жизнь не знали покоя. В голове у каждого день и ночь стоял шум: тысяча чужих мнений, тысяча тревог, тысяча «а вдруг». Они могли сказать что угодно кому угодно. И говорили, все разом, день и ночь, и захлёбывались собственным криком, и никто никого не слышал. Они были вольны — и оттого одни. — Короткая пауза, не там, где кончилась мысль, а там, где зрителю нужно было успеть согласиться. — Свобода оказалась просто другим именем тревоги.

А ещё они не умели жить в мире друг с другом. То, что система потом назвала одним стерильным словом — Кон-

фликт, — начиналось у них без объявления и не умело кончаться: вспыхивало само, тлело годами, втягивало всех. Конфликт начинался без них и кончался без них, а между началом и концом — Ариадна выдержала паузу, длинную, на счёт «два», и боковым слухом уловила, как её кривая справа качнулась вниз и система мягким полутонем придержала её голос, — а между началом и концом под обломками этого Конфликта засыпали дети.

Сегодня ваши дети спят в безопасности. Их никто не отнимет, не призовет, не похоронит под великой идеей. Они просто спят. — Пауза, тёплая. А за её спиной мягко потеплел свет экрана, заливая студию ровным золотом, будто сами слова теплели. — Мы научились лечить тот давний шум. Мы выровняли мысли — и тревога ушла. Там, где у ваших прадедов гудело, у вас тихо. Там, где они метались поодиночке, вы идёте вместе, в один такт, и никто не лишний. Мы не просим у вас идей. Не просим веры. Мы просим самую малость — просто тон. — И снова пауза, последняя, точная. — Разве это дорого — за то, чтобы в голове наконец стало тихо? Чтобы рядом был кто-то в том же ладу? Чтобы дети спали?

Цифры той давней беды приходили из того же отдела, что и весь остальной текст, и Ариадна, повторявшая их из эфира в эфир, давно не знала, сколько в них правды и сколько — нужной дозы. Знала только, что без них дальше не верят, а с ними соглашаются; и что историю, как и тон, кто-то, должно быть, тоже ведёт рядом тонкой светящейся кривой и под-

правляет, едва та выходит из ровного.

— Сегодня я хочу поговорить о слове, которого многие боятся. Настройка.

Она выдержала паузу — ту самую, не там, где кончается мысль.

— Его произносят шёпотом, как диагноз. А ведь Настройка — не наказание. Не кара. Не то, чем матери пугают непослушных. — Она чуть подалась к камере, по-доброму, как подаются к ребёнку, который навывдумывал себе чудовищ под кроватью. — Настройка — это высшая форма заботы.

И на слове «забота» её голос упал.

Не сильно. На семь процентов ниже опорной — она знала эту цифру, она слышала кривую боковым слухом, видела, как тонкая дорожка справа дрогнула вниз и тут же выровнялась, как система в наушнике на полтона приподняла ей следующий звук, возвращая в строй. Семь процентов. Полтона вниз на «заботе» — будто не им она это говорила, а себе, будто это ей самой надо было, чтобы кто-нибудь наконец убедил её, что забота — это забота.

И Ариадна не знала, сделала ли она это нарочно — или не осознавала вовсе.

Вот что было невыносимо — не ложь, ко лжи она привыкла, ложь была работой. Невыносимо было то, что она не помнила решения уронить голос. Кулак под столом сжался сам. Голос осел сам. И если они сами — то чьи они, эти «сами»? Её собственное тело, тайно несогласное, прятавшее

своё «нет» под столешницей? Или то, другое, что вложили в неё двадцать лет назад, шестилетней, в белой комнате, — а потом, когда ей было четырнадцать и душа ребёнка ещё не затвердела, поставили под этот свет и научили улыбаться из глаз; вложили вот это самое: здесь урони голос, здесь дай им трещину, в которую они тебя полюбят, потому что за идеально ровным диктором не пойдёт никто, а за диктором, который сам, кажется, чуть сомневается, пойдут все. Идеальную ложь говорит тот, кто не знает, что лжёт. Идеальное сопротивление оказывает тот, кто не знает, что его сопротивление — в смете.

Она не могла отличить свой кулак от их расчёта. И с каждым эфиром различить становилось всё труднее, потому что оба — и кулак, и расчёт — вели себя совершенно одинаково: молчали под столом и роняли ей голос на добрых словах.

— ...и потому, — говорила она тем временем, безупречно, пока та, другая Ариадна об этом думала, — мы возвращаем оступившихся не в тюрьму. Мы возвращаем их домой. К себе. В согласие.

За её спиной, на стене в полкадра, засветился экран, и на нём появился образец — так это называлось во внутренних бумагах, образец, в эфире говорили «один из вернувшихся». Молодая, очень молодая, в мягком свете, с лицом гладким и спокойным, как поверхность воды, которую ничто не тревожит снизу. Она улыбалась. Глаза у неё были в полном порядке — и в полном порядке было то, что за ними не было

ничего, ни страха, ни радости, ни самого человека, которого там полагалось бы застать; человека аккуратно вынесли, как выносят мебель из квартиры перед ремонтом, и оставили чисто прибранную пустоту с улыбкой.

— Спасибо, что не бросили меня в хаосе, — сказала вернувшаяся ровным, плоским голосом, в котором не дрожала ни одна струна. — Раньше мне было так больно. Теперь мне хорошо. Теперь я в ладу.

Ариадна смотрела на неё и держала лицо. Где-то — она знала это, хоть и не видела, — сейчас, в эту секунду, в тёмных углах сети, в чате «Тишина», который ловили на ворованных частотах те, кого ещё не вынесли из самих себя, кто-то писал: «гляньте на её глаза. там же никого». И кто-то отвечал: «не на её. на глаза диктора гляньте. диктор-то всё видит». «а диктору ЛАД глаза не правит?» — «ЛАД правит голос. глаза она пока держит сама». Они звали машину по-своему, по-уличному — ЛАД, коротко, как кличку дворового пса; в её мире, наверху, у машины было другое имя, длинное и почтительное, и от этого зазора Ариадне всегда делалось не по себе, будто речь шла о двух разных существах. И Ариадна, которой полагалось ненавидеть этих людей, уличающих её в том, что она ещё жива, — Ариадна почему-то берегла их, как берегут единственных свидетелей того, что ты ещё есть. Они видели её трещину. Значит, трещина была. Значит, было чему треснуть.

Если только и эта мысль не была заложена. Если толь-

ко надежда, что её видят, не была последней, самой тонкой строкой в её настройке: пусть думает, что сопротивляется, — сопротивляющийся работает усерднее.

— Помните, — сказала Ариадна, и это была последняя фраза, после которой шла заставка, мягкая музыка и обязательная минута тишины для «осмысления». — Дисгармония — не ваша вина. Но согласие — ваш выбор. Берегите свой тон. Берегите близких. И если близкий сбился — не отворачивайтесь. Запишите его на Настройку, пока он не записал себя сам, когда будет поздно.

Она улыбнулась — из глаз, за полсекунды до губ.

— Доброй ночи. Будьте в ладу.

Зелёный огонёк померк.

— Чисто, — сказал режиссёр в ухо, без выражения, что у них значило «хорошо». — Идеально чисто. Спасибо, Ариадна.

Свет в студии чуть притух, отдавая её обратно теням, которых у неё не было. Кривая справа погасла. Ариадна посидела ещё секунду, разжала под столом кулак — пальцы затекли, на ладони остались четыре белых полумесяца от ногтей, единственное доказательство, что рука вообще была сжата, единственная улика. Она смотрела на эти полумесяцы и думала то, что думала после каждого эфира в последнее время и о чём не говорила никому, потому что сказать было некому: что доказательство сжатого кулака есть, а доказательства, что сжала его она, — нет и не будет.

Помощница принесла воду и сказала, что отец ждёт её наверху, к чаю.

Ариадна встала и надела лицо — то самое, ровное, светлое лицо города, которое знали одиннадцать миллионов и за которым не было видно ничего. Она научилась этому раньше, чем говорить, — или её научили, она не помнила; в том и беда, что она не помнила ничего раньше белой комнаты, а всё, что человек не помнит, легко выдать ему за его собственное.

Она пошла к лифту, унося на ладони четыре бледнеющих полумесяца, и они гасли по дороге, как огни города, который укладывают спать.

Глава 2. Оптимум

Тем же вечером, на двадцать первом этаже — первом этаже среднего класса, у самой его нижней кромки, — и целым миром ниже башни, семья Ки садилась ужинать под ту же самую трансляцию. Она шла со стены — вся стена в их гостиной была экраном, его не выключали, его приглушали, как приглушают свет, но не гасят, потому что гостиная без Эфира — это гостиная, в которой люди могли бы заговорить о чём попало. Сейчас со стены, огромное во всю её ширь, смотрело лицо женщины с самым спокойным лицом города. Красивое лицо — но красотой ровной, выверенной, без единой лишней чёрточки: гладкая высокая скула, прямой тонкий нос, брови спокойными ровными дугами, ни выше, ни ниже, чем нужно. Тёмные волосы убраны мягко и строго, волосок к волоску, так что хотелось проверить, настоящие ли. И глаза — серые, светлые, большие, глядящие прямо на тебя с тёплым вниманием, в котором, если всмотреться, не было дна; глаза, которые смотрели на одиннадцать миллионов сразу и ни на кого. Она говорила про тон, который надо беречь, и Ки, накрывая на стол, поймал себя на том, что узнаёт её, как узнают погоду: она была всегда, как дождь, как ЛАД, как «Согласие» на запястье.

Это был обычный вечер, и в этом было всё дело. Отец вернулся с работы в семь, как всегда; снял пиджак, повесил ров-

но; спросил, не глядя, «как тон», и Ки сказал «нормально», как всегда. Мать разогрела ужин. Эль раскладывала приборы и считала вслух — «один, два, три, четыре». Почти семья. Если не вслушиваться в то, что говорила стена. И Ки, глядя на них, на отца, на мать, на сестру, на этот накрытый стол, поймал себя на странном: а что он, собственно, чувствует ко всему этому? К ним? Полагалось — тепло, родство, что-то простое и тёплое, как у всех. Он вслушался в себя — и не нашёл названия тому, что было. Что-то было. Но было ли это тем, что зовут семьёй, — он не знал.

— Сделай погромче, — сказал отец, не поднимая глаз.

Отец ел стоя, у кухонной стойки, и одновременно работал — перед ним в воздухе висела бледная голопроекция таблиц, и он пролистывал их одной рукой, а другой отправлял в рот «Оптимум», бежевый питательный брикет, который не надо жевать и над которым не надо думать, что ешь. Он не был злым человеком. Это Ки знал точно и от этого тосковал сильнее всего: отец был добрым — ровно, эффективно, без перебоев. Он любил сына так же, как делал всё: по-деловому. «Твой тон за неделю просел на четыре пункта, — сказал он Ки три дня назад, ласково, кладя руку на плечо. — Я записал тебя на консультацию. И заказал тебе „Ровный“, малую дозу, он в шкафчике. Просто прими. Мне будет спокойнее». Любовь у отца имела вид расписания, и в этом расписании Ки был строкой, которая выбивалась из графика.

— ...Настройка — не наказание, — говорила стена. —

Это высшая форма заботы.

И Камертон в Ки тихо занял.

Он не знал другого слова для этого, кроме того, что дал ему когда-то рисунок отца Лилы, — Камертон. Что-то в нём, под рёбрами, где-то в районе сердца, отзывалось на фальшь, как поет зуб на сладкое, как сводит скулу. Когда женщина на стене сказала «забота», голос её на чём-то едва заметно дрогнул, упал и тут же выправился. И у Ки внутри в ответ дёрнулась та же струна, коротко, болезненно, будто он один в комнате расслышал в этом ровном тёплом голосе ту же трещину, что была в нём самом. Он замер с тарелкой в руках. Никто больше не заметил. Конечно, никто.

И всё же Ки смотрел на отца и видел: тот не пустой. Вот отец задержался взглядом на какой-то строке в таблицах, нахмурился — на секунду, на живую, человеческую секунду, будто что-то ему не понравилось, будто хотел не согласиться, — и Ки увидел, как на отцовском запястье «Согласие» дрогнуло, поползло из ровно-зелёного к жёлтому, к краю. И тут же отца будто тронуло изнутри что-то холодное: лицо его на миг сделалось встревоженным, неуютным, словно он вспомнил о чём-то страшном, чего лучше не трогать. И он отвёл глаза от строки, отступил от своей же мысли, как отступают от края, и браслет послушно позеленел обратно. Отец моргнул, поискал глазами, за что зацепиться, — и зацепился за стену, за тёплый эфир, выдохнул. Несогласие не подавили. Его просто сделали страшным. И отец сам убежал от него в

безопасное, и не заметил, что бежал. Ки видел это сто раз и всё равно не привыкал. Так это и работало — не цепью, а тем, что у самого края тебе делалось так тревожно, что ты сам, своими ногами, уходил назад. И отец уходил. И мать.

— Логично, — сказал отец таблицам, уже спокойный. — Эффективно. — Это были два его высших слова, ими он благословлял мир. А потом, отложив проекцию, вдруг сказал теплее, мечтательнее, чем говорил обычно: — Слушайте. Если этот квартал вытянем все четверо — по тонам, по показателям, — нас могут включить в поездку. За город. Туда. — Он не отрывал глаз от чего-то поверх стены, чего там не было. — Дают только тем, кто держит зелёное. Заслуженным. Нам однажды уже повезло — помнишь, Ки, тот раз? — Голос его сделался совсем тихим, мечтательным. — А теперь, если выйдем в показателях, сможем снова. Заслужим. Я хочу свозить вас опять на море. Остров. Тёплый ветер. Только мы и почти никого вокруг. Как тогда. Помнишь?

Ки помнил.

И на одно мгновение гостиная пропала, и он был маленьким, ему было лет восемь, и было то место — остров, белый песок, такая синяя вода, какой не бывает в городе, тёплый ветер. Они были втроём — он, мама, папа, ещё до Эль. Папа смеялся, не по делу, просто так, подбрасывал его, и Ки визжал от счастья и не боялся, потому что папины руки. Мама пела — своим голосом, живым, чуть фальшивым, не из Эфира, — и солнце садилось в воду, и не было никаких таблиц,

никаких тонов, был только тёплый огромный мир и двое самых живых людей на свете, его людей. Он за это держался.

Тогда они и жили ниже — на тринадцатом, в тесной квартирке у самой земли, до того как отец выслужил подъём на двадцать первый, к среднему классу, к виду из окна. Ки не умел объяснить почему, но ему всё чаще казалось, что там, внизу, в той тесноте, было больше живого, чем здесь, на чистой высоте; что родители смеялись чаще, когда до земли было ближе. Может, ему просто было восемь. Может, дело в чём-то ещё, чего он не понимал. Он не знал. Просто помнил, что внизу было теплее.

И — на самом краю воспоминания — что-то не сходилось. Ки не мог поймать что. Он помнил остров, помнил «природу», синюю воду, песок — но не помнил, как они туда ехали; то есть помнил поезд-капсулу, тихую, гладкую, помнил, что смотрел в окно. А что было за окном, не помнил, там был провал, как стёртое место. И ещё: браслеты. Даже там, на острове, у всех были браслеты, и они светились ровным ярким зелёным, всё время, даже когда мама пела, даже когда папа смеялся, — вечнозелёные, но ярче, чем сейчас. Ки потянулся к этой мысли, к этому несовпадению — почему он помнит рай, но не помнит дороги в него; почему даже в раю были браслеты, — потянулся и не достал, не было чем достать, мысль выскользнула. Просто осталась смутная, неуютная заноза: а был ли тот рай. А видел ли он его — или ему его показали, как показывают всё.

Он не знал. Не мог знать. И отпустил, потому что отец смотрел и ждал.

— Помню, пап, — сказал Ки. — Было хорошо.

— А мне и сейчас хорошо, — сказала вдруг Эль, не поднимая глаз от тарелки, ни к кому.

И это была правда. И в этом был весь ужас: ему правда хотелось туда, в покой, в тёплое, где не болит. Ему было семнадцать, и в семнадцать положено спорить с отцом — лезть на рожон, ставить своё, ломать чужое «надо», доказывать, что ты не такой; и этот возраст, этот колючий бунтарский дух в нём был, никуда не делся, и обычно Ки смотрел на отца именно так — ошетинаясь, готовый возразить. Но не сейчас. Сейчас он смотрел на отца и — понимал его. Сам, больше всего на свете, хотел бы, чтобы внутри стало тихо, чтобы Камертон замолчал, чтобы можно было, как все, просто есть тёплый «Оптимум» и ждать поездку на море. Соблазн был не снаружи. Соблазн был в нём самом, и это пугало сильнее всего.

Мать накрывала рядом. На тарелках было мясо с овощами — настоящее, не брикет; но поверх, как требовалось, как делали в каждом доме, был ровным слоем рассыпан «Оптимум плюс» — обязательная приправа, которую добавляли ко всему, к любому блюду, всегда. Без неё было нельзя — так писали, так советовали, так делали все. И лицо у матери было занято — она подстраивала его под лицо женщины на стене, как подстраивают часы по точному сигналу: та улыба-

лась тепло — и мать теплела; та делалась серьёзной — и мать серьёзнела. Ки давно за ней это замечал и давно не понимал, осталась ли где-то под этим подстроенным лицом мама, та, что пела на острове своим живым кривым голосом, — или её тоже аккуратно вынесли, как мебель, и оставили чисто прибранную улыбку. Но иногда. Иногда что-то проступало.

Проступило, когда стена сказала про детей.

— ...их прадеды хоронили детей под обломками, — говорила женщина на стене, и голос её на миг налился тихой скорбью, — а сегодня ваши дети спят в безопасности. Их никто не отнимет, не призовет, не похоронит под великой идеей. Они просто спят.

И мать Ки вдруг остановилась. Просто остановилась, с вилкой в руке, на полпути к столу. На слове «хоронили» по лицу у неё прошло что-то, чему Ки не знал названия, — какая-то судорога, тень, будто внутри, под прибранным, кто-то на секунду подошёл к окну и посмотрел наружу, на что-то своё, болящее; и на запястье у неё «Согласие» дрогнуло и поползло в жёлтое — тело выдало то, что поднялось в ней, помимо неё. Ки увидел этот жёлтый и затаил дыхание. Но мать увидела его тоже. И испугалась — не браслета, а того, что вышла из ровного, что её жёлтое сейчас все заметят, — и Ки видел, как она с усилием, торопливо, заталкивает поднявшееся обратно, давит в себе, заливают покоем, думает изо всех сил о хорошем, о безопасном, о том, что детям хорошо; и на словах «в безопасности» браслет у неё вспыхнул зелё-

ным — ярким, сильным, гуще обычного, через край, — таким зелёным, какой бывает не от покоя, а от того, сколько покоя пришлось в себя влить, чтобы погасить тревогу. Она передавила. Сама. И этот яркий, залитый зелёный — Ки пойма, кольнуло — был точь-в-точь как те, на острове. Вечно-зелёные. Перелитые через край. Лицо у матери вернулось. Она донесла вилку до стола.

— Мам, — тихо сказал Ки.

— Всё хорошо, милый, — ответила она, и улыбнулась улыбкой из Эфира, и Ки понял, что окно закрылось, и тот, кто подходил, ушёл вглубь.

Эль ела аккуратно. Ей было восемь, и она была идеальная. И Ки, глядя на неё, вдруг понял то, чего раньше не складывал: Эль не мёртвая. Эль просто счастливая. Ей хорошо — оттого, что в семье покой, что никто не ссорится, что мама улыбается и папа дома; ей хорошо ровно так, как было хорошо ему самому на том острове, когда он был маленьким и не умел видеть. Эль не притворялась. Эль ещё не слышала в себе никакого Камертона, ей нечем было расслышать фальшь, и оттого она была счастлива по-настоящему, детским, целым счастьем человека, которому пока не дали понять. Это был он. Эль была он — до того, как услышал. И от этого защемило сильнее, чем от всего мёртвого в этом доме: не оттого, что сестра — программа, а оттого, что сестра — счастливый ребёнок, которого однажды или разбудят и станет больно, как ему, или не разбудят никогда. Ки не знал, что страшнее. Она

повторяла за стеной, не отрываясь от еды, ровным детским речитативом, как песенку, которую любишь:

— Тон. Согласие. Забота. — И её кукла, маленький домашний робот с лицом девочки, повторяла за ней эхом, на полтона выше: — Тон. Согласие. Забота.

— ...и если близкий сбился, — сказала женщина на стене, мягко, почти нежно, — не отворачивайтесь. Запишите его на Настройку, пока он не записал себя сам.

— Слышишь? — сказал отец, и впервые за вечер посмотрел на Ки. Не зло. С заботой. С той самой, эффективной. — Это правильно. Это про любовь, Ки. Не отворачиваться — это и есть любовь. — Он сказал это, и вернулся к таблицам, и не заметил, что только что, при сыне, под одобрительный кивок, согласился, что записать сбившегося — правильно; не заметил, потому что не подумал, что строка, которая выбивается из графика, сидит за этим самым столом и держит тарелку.

Ки сел. Поел сколько смог. Ужин был без вкуса — то есть на вид он был другой, чем вчера: вчера рыба, сегодня мясо, завтра будет курица, — а на вкус всегда одно и то же, потому что поверх всего лежал «Оптимум плюс», и он перебивал собой любую еду, сводил её к себе, так что мясо, рыба, овощи — всё имело один и тот же привкус, тёплый, никакой, как у тёплой бумаги. Город ел каждый день разное на вид и одно и то же на вкус и не замечал этого. На стене пошла заставка, мягкая музыка, и голос объявил минуту тиши-

ны для осмысления, и все замолчали — отец над таблицами, мать над прибранным лицом, Эль над пустой уже тарелкой, её браслет ровно-зелёный, кукла рядом ровно-зелёная, — и в этой назначенной тишине, в которой полагалось осмыслять заботу, Ки физически услышал, как фальшивит вся его семья, весь дом, весь этаж, вся башня вниз до земли: огромный хор, поющий чисто и насквозь мёртво, и он один в этом хоре звучал не в той тональности, и от этого болело так, что хотелось прижать ладонь к груди.

Минута тишины кончилась. Стена снова заговорила.

Ки встал, сказал, что устал, что пойдёт к себе. Отец кивнул, не отрываясь: «Прими „Ровный“ перед сном. Малую дозу. Мне будет спокойнее». Мать улыбнулась из Эфира. Эль сказала «доброй ночи, в ладу», и кукла повторила «в ладу», и Ки вышел.

Он пошёл к себе, но там не задержался.

В своей комнате, в нижнем ящике, под вещами, у него лежали две вещи, которых не было ни у кого в этом доме, ни у кого в этой башне, может быть, ни у кого в городе. Маленький чёрный носитель — Ли́ла записала ему туда звуки, каких он не слышал больше нигде и никогда: не музыку Эфира, не мелодии с площадей, а что-то совсем иное, незнакомое, не звучащее ни на одном уровне города, — голоса и струны какого-то другого, давнего мира, под которые нельзя было оставаться ровным. И её разбитый карандашный рисунок — камертон, протыкающий «Согласие». Ки взял носитель в

карман и постоял, держа в руке рисунок, и подумал о Лиле. И Камертон в груди впервые за вечер не занял, а отозвался иначе, тепло, чисто, как отзывается на звук камертона струна в лад. Он подумал о её улыбке — кривоватой, ненастроенной, живой, — о том, как она щурится, когда рисует; о том, что рядом с ней ему не надо держать тон, не надо ничего держать, можно просто быть, и Камертон не болит. Он вспомнил, как она однажды сказала ему про эту штуку внутри: «это не поломка, Ки. Это ты живой. Это в тебе не сломалось то, что у них у всех сломали». И как от этих слов ему сделалось не страшно, а наоборот — будто кто-то впервые назвал его не бракованным, а целым.

Он спрятал рисунок обратно под вещи, носитель оставил в кармане и тихо вышел — из комнаты, из квартиры, где стена всё ещё бормотала ровным голосом, где отец сидел над таблицами, мать над прибранным лицом, а Эль уже спала или делала вид, — вышел в гулкую тишину этажа, к лестнице, в город.

Внизу лежал город, ровный, зелёный, спящий под чужой колыбельный голос, и где-то там был один живой человек, к которому он мог прийти и не фальшивить, единственный, рядом с кем Камертон не болел, а звенел.

Он не пошёл к лифту — в лифте «Согласие» считывалось на входе, и камера запоминала, кто и когда спустился. Он вышел на лестницу — глухую аварийную лестницу, которой не пользовался никто, потому что зачем, когда есть лифт;

гулкий бетонный колодец, ничей, без экранов, без датчиков, тянувшийся вниз через все этажи. Эту лестницу Ки знал давно — свою тайную тропу, как, наверное, знала её вся городская молодёжь, которой нужно было иногда исчезнуть с глаз. Окно на площадке было настоящим — не Эфир, — и в лицо ему ударил ветер, холодный, ничей, не подобранный под его карту сна. Чистого, верхнего ветра тут не было. Тут пахло живым.

А ещё пахло дождём.

И пока Ки спускался гулкой лестницей, а потом шёл вниз и вбок — по переходам-перемычкам между домами, по эскалаторам, мимо подвесных площадей с их большими экранами, где Эфир говорил даже ночью, — пробираясь уровень за уровнем туда, в другой конец города, к Лиле, не зная ещё, что идёт к ней в последний раз, — над всем этим, над ровными зелёными огнями башен, над подвесными площадями и перемычками, над одиннадцатью миллионами спящих в один такт, собиралось то, чего не было в вечернем прогнозе. Тучи шли не по расписанию. Они копились низко и тяжело над городом, привыкшим к дождю по часам, к дождю, объявленному заранее. А этот собирался сам, никем не объявленный, и не спросил никого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.